

ным умам — не значит ли это стремиться к невозможному? Поистине, народный оратор — раб публики, принадлежащий всем; каждый может его мучить по собственной воле. Если кто-либо начнет смеяться, софист теряется, при виде угрюмого лица — он пугается. Если его слушают с особым вниманием, он представляет, что его осуждают. Если поворачивают голову с одной стороны в другую, он думает, что соскучились слушать. Однако он заслуживает снисходительных господ, он, который много ночей проводил без сна и много дней употребил на работу, который был, так сказать, снедаем утомлением и голодом, чтобы только составить прекрасную речь. Он является потом перед этим спесивым юношеством, слух которого он хочет очаровать; он нездоров, но он оказывает им уважение, не обращая внимания на здоровье. Вымывшись накануне, он является в назначенный день перед публикой, нарядный, выставляющий напоказ все свое обаяние. Он обращается к собранию с улыбкой на губах, кажется радующимся в то время, когда внутри терзается мучением. Он ест камедь, чтобы сделать голос громким и звучным. Ибо софист, даже серьезный, многого достигает своим голосом и не старается скрывать забот, которые ему посвящает. Он останавливается среди речи, чтобы потребовать питье, заранее приготовленное. Служитель подносит ему, и он пьет, прохладя горло, чтобы лучше произносить мелодичные фразы. Но все же несчастный не может снискать благосклонности публики; слушатели ждут с нетерпением, когда он кончит, чтобы смеяться на свободе. Они предпочли бы видеть его с открытым ртом, жестикулирующего и вместе с тем сохраняющего безмолвие статуи. Утомленные скукой, они могут, наконец, выйти. Я же пою только в свое удовольствие; в то время как я обращаюсь к деревьям, ручеек, который журчит предо мною, продолжает свой путь, никогда не иссякая. Это не вода клепсидры, которую общественный сторож отмеривает скупой рукой. Я могу петь или только несколько минут или в течение целых часов... Я останавливаюсь, когда хочу, а ручей течет еще и будет течь день, ночь и на следующий год, и всегда¹.

Синезий высмеивает и излюбленные темы декламаций софистов. „Я не понимаю, — пишет он, — какое удовольствие находят они в прославлении добродетелей Мильтиада и Кимона или многих других, неизвестных по имени, или в рассуждении о богатом и бедном, публично спорящих между собой. Я видел старцев в театре, рассуждающих об этом предмете. Они выказывали важность философов и имели развевающиеся бороды, на которых, я думаю, можно было бы повесить значительную тяжесть. Но важность не препятствовала им во время спора браниться, сердиться, непристойно размахивать руками. Я воображал, что они спорят о деле какого-нибудь родственника, но каково же было мое удивление, когда я узнал, что личности, которых они защищали, вовсе не были из их семейства, даже не существуют, никогда не существовали и не могли существовать. Если в девяностолетнем возрасте они рассуждают о таких жалких выдумках, то к какому времени они относят речи более серьезные?“².

Возможно, что эти характеристики даются Синезием на основании его александрийских наблюдений, но, как видно из писем, адвокаты и риторы имелись и в Киренаике в достаточном количестве. Куда меньше было философов. Синезий во многих сочинениях и письмах жалуется,

¹ PG, t. 66, col. 1149.

² Ibid., col. 1317—1319.